

Дженнифер Доннелли

Революция



Дженнифер Доннелли

Революция

«Розовый жираф»

2010

Доннелли Д.

Революция / Д. Доннелли — «Розовый жираф», 2010

ISBN 978-5-4370-0097-7

Тайна, вокруг которой закручены все события в "Революции", – судьба маленького дофина, сына Людовика XVI Луи-Шарля. История невинно замученного узника Тампля считается одной из самых позорных страниц Великой Французской Революции. Читатели книги Дженнифер Доннелли узнают эту историю изнутри: увидят ее глазами современницы дофина, актрисы Алекс, отчаянно пытавшейся спасти наследника французского трона. И узнают детали генетического исследования, которое было проведено в XXI веке и раскрыло тайну маленького сердца, хранящегося в музее.

ISBN 978-5-4370-0097-7

© Доннелли Д., 2010

© Розовый жираф, 2010

Содержание

Ад	6
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Дженнифер Доннелли

Настоящее издание публикуется с разрешения Writers House LLC и Synopsis Literary Agency.

Revolution – Copyright © Jennifer Donnelly, 2010

© Салтыкова М., перевод на русский язык, 2013

© ООО «Издательство «Розовый жираф», 2014

Издательство «4-я улица» ®, издание на русском языке, оформление

© Мачкасов Ю., перевод стихов на русский язык, 2013

* * *

Посвящается Дейзи, сокрушившей стены моего сердца

Эта книга – художественный вымысел. Все события и диалоги, а также герои, за исключением известных исторических и публичных персонажей, – плоды воображения автора. Ситуации и разговоры, где фигурируют исторические или публичные персонажи, также являются вымышленными и не претендуют на объективное отображение действительности. Любые совпадения с настоящими людьми, живыми или покойными, – случайны.

*Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей древний ужас в памяти несусь!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.*

*Данте
«Божественная комедия»¹*

¹ Здесь и далее при цитировании Данте используется перевод М. Лозинского.

Ад

И я – во тьме, ничем не озаренной.
Данте

1.

Кто умеет – пишет музыку.

Кто не умеет – диджействует.

Например, Купер ван Эпп. Вот он, пританцовывает в центре своей комнаты, занимающей весь пятый этаж дома на Хикс-стрит, пытается свести какой-то кошмарный трип-хоп с треком Джона Ли Хукера на аппаратуре за двадцать штук баксов. Понятия не имея, как ей пользоваться.

– Вот это круть, чуваки! – кричит он. – Мемфисский блюз на новый лад! – Он отвлекается, чтобы налить себе второй утренний скотч. – Два времени в одном, как если Бил-стрит² перенести к нам в Бруклин! Прикиньте: тусишь такой на чьей-то хате, куришь на завтрак «Кент», запиваешь бурбоном, а рядом Джон Ли с гитарой... Только знаете, чего нам сейчас не хватает?

– Голода, болезней и отсутствия перспектив, – говорю я.

Купер сбивает свою шляпу-поркпай на затылок и ржет. На нем старый жилет от костюма-тройки, надетый поверх майки. Ему семнадцать, он белокож словно ангел, богат как бог и косит под блюзмена из дельты Миссисипи. Получается неубедительно и придурковато.

Я продолжаю:

– Нищета, Куп. Вот чего тебе не хватает. Из нее рождается блюз. Только тебе слабо. Ты же у нас наследник акулы капитализма.

Идиотская улыбка сползает с его лица.

– Анди, ну чего ты вечно ломаешь мне кайф? Чего ты вечно такая...

Симона Кановас, дочка дипломата, перебивает:

– Да забей, Купер. Сам знаешь, чего она.

– Это все знают, – встречается Арден Тоуд, дочка кинозвезды. – И все уже забили.

Я не обращаю внимания.

– А еще – талант. Без него никуда. У твоего Джона Ли Хукера таланта было немерено. А ты разве пишешь музыку, Куп? Или хотя бы играешь? Ты же просто миксуешь то, что делают другие, и выдаешь этот компот за собственное творчество.

Купер мрачнеет и кривит губу.

– Ты в курсе, что ты страшная язва?

– Да, я в курсе.

Истинная правда. Мне нравится наезжать на Купера. Нравится его обламывать. Это удовольствие круче вискаря, который хлещет его отец, и забористей травы, которую дует его мать. Потому что пусть всего на пару секунд, но – кому-то тоже больно. Эту пару секунд мне не так одиноко.

Я беру гитару и наигрываю первые ноты знаменитой «Boom Boom» Хукера. Выходит слабенько, но эффект производит что надо. Послав меня куда подальше, Купер сваливает из комнаты.

² Бил-стрит – культовая улица в городе Мемфисе, где появились первые блюз-бары. Считается родиной блюза. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Симона морщится.

– Жесть, Анди. Он же такой ранимый! – Она вскакивает и выбегает следом за ним. Арден тоже уходит.

На самом деле Симоне плевать на Купера с его ранимостью. Просто она боится, что он отменит утреннюю тусовку в пятницу. Она не заходит в класс, предварительно не бахнув. Как и остальные. Всем надо что-то в себя влить, прежде чем переступить школьный порог. Иначе – груз чужих ожиданий в два счета раздавит нас в лепешку.

Я сворачиваю «Boom Boom» и начинаю играть «Tupelo». Никто не слушает.

Предки Купера свалили отдыхать в Кабо-Сан-Лукас. Домработница бежит открывает окна, чтобы проветрить прокуренную квартиру. Мои одноклассники меняются айподами с ценными треками. Никто из нас не интересуется попсовыми хитами из списков «Топ 100» – это фигня для меломанов из безымянных государственных школ. А мы учимся в школе Св. Ансельма, самой крутой в Бруклине. Так что мы особенные. Уникумы. Юные гении. Все как один. Наши учителя наперебой осыпают нас такими эпитетами, а родители платят по тридцать тысяч в год, чтобы это услышать.

Наш выпускной год – весь про блюз. Еще это год Уильяма Берроуза, балканского соула, немецких контртеноров, японских девчочковых групп и музыки «новой волны». Это не случайная подборка. Все, чем мы занимаемся, неслучайно. Чем загадочнее наши вкусы, тем очевиднее наша гениальность.

Я сижу, мучаю «Tupelo» и прислушиваюсь к обрывкам разговоров:

– ...на самом деле в тексты «Флок ов Сигалз» невозможно въехать, если рассматривать их вне метапрозаической парадигмы...

– ...с Пластиком Бертраном все ясно, как только врубишься, что он пост-иронический нигилист...

– ...знаешь, вообще вся «новая волна» черпает смыслы в своей изначальной бессмысленности. Тавтология, замечу, умышленная...

– *Wasn't that a mighty time, wasn't that a mighty time...*³

Я поднимаю взгляд. На другом конце дивана сидит известный красавчик из Слейтера, другой бруклинской школы. Допев строчку из «Tupelo», он придвигается ближе, пока не касается меня коленом, и комментирует:

– Неплохо.

– Спасибо.

– Чего, в группе лабаешь?

Я продолжаю играть опустив голову, и он решает, что пора нагнеть.

– Это что у тебя? – спрашивает он, наклонившись совсем близко, и тянет меня за красную ленту, которую я ношу вокруг шеи. На ней висит серебряный ключ. – Ключик к твоему сердцу?

Мне хочется убить его за то, что он коснулся ключа. Хочется наговорить слов, которые разорвут его в клочья, но слова пересыхают у меня в горле, так что я просто поднимаю руку – правую, в кольцах с черепами, – и сжимаю кулак перед его носом.

Он отпускает ключ.

– Ну извини.

– Не трогай, – говорю я. – И вообще отвали.

– Да ладно, ладно. Успокойся, психованная какая-то... – Он отодвигается.

Я убираю гитару в чехол, прячу ключ обратно под рубашку и ищу выход. Дверь. Пожарную лестницу. Окно. Что угодно. Когда я прохожу через гостиную, чья-то рука ложится мне на плечо.

– Пойдем, уже четверть девятого.

³ Ах, какое было время, какое было время... (англ.).

Виджей Гупта. Президент клуба отличников, команды риторики, шахматного клуба и Генеральный секретарь школьной модели ООН. Волонтер походной кухни для бездомных, благотворительного образовательного центра и Американского общества защиты животных. Стипендиат Института Дэвидсона, кандидат в стипендиаты Президентской программы, победитель поэтического конкурса Принстонского университета. К сожалению, он не умирает от рака.

А вот Орла Макбрайд одно время умирала – и не преминула написать об этом в своих заявках на прием в колледж, так что ее досрочно приняли в Гарвард. Химиотерапия, облысение и выблевание желудка по частям оказались весомее, чем весь набор достижений Виджея. Его, правда, поставили в список ожидания, но ему все равно приходится таскаться в школу, как всем.

– Я не пойду.

– Чего так?

Я молчу.

– Что случилось-то?

Виджей – мой лучший друг. В последнее время – единственный мой друг. Понятия не имею, почему он до сих пор не забил. Иногда мне кажется, что я – очередной его благотворительный проект, вроде убогих псов, которых он подкармливает в приюте.

– Да ладно тебе, Анди, – говорит он. – Пойдем! Тебе же план сдать надо, а то Бизи тебя выпрет. Двоих уже вытурили в прошлом году за то, что они протупили с выпускными работами.

– Знаю. Но я никуда не пойду.

Виджей хмурится.

– Ты утренние таблетки пила?

– Да.

Он вздыхает.

– Ладно, увидимся.

– Увидимся, Ви.

Покинув гнездо ван Эппов, я спускаюсь на Променад. Идет снег. Я усаживаюсь на скамейку с видом на магистраль, некоторое время рассматриваю Манхэттен, потом достаю гитару. Я играю несколько часов, пока руки не дубеют от холода. Пока не срываю ноготь, запачкав струны кровью. Пока пальцы не начинают болеть так сильно, что я забываю про свою настоящую боль.

2.

Джимми Башмак смотрит, как мимо нас старательно вышагивает малыш, прижимая к себе плюшевого Гринча.

– В детстве я верил всему, что мне вешали на уши, – говорит Джимми. – В Санта-Клауса верил, в пасхального кролика... В привидений. И в Эйзенхауэра. – Он отхлебывает пиво из бутылки, завернутой для конспирации в бумажный пакет. – А ты?

– У меня детство еще не закончилось, Джимми.

Джимми – старый итальянец. Иногда он подсаживается ко мне на Променаде. У него не все дома. Он считает, что Ла-Гардиа⁴ до сих пор мэр Нью-Йорка и что «Доджерсы» до сих пор играют за Бруклин. Прозвищем Башмак он обязан своим бессменным ярко-красным ботинкам из пятидесятых.

– А в Бога? В Бога ты веришь? – спрашивает он.

– В которого из богов?

– Не строй из себя умную.

⁴ Фиорелло Генри Ла-Гардиа был мэром Нью-Йорка с 1934 по 1945 год.

– Уже построила.

– Ты же в школу Святого Ансельма ходишь? У вас там что, никакого религиозного образования?

– А какая связь? Школа давно послала святого куда подальше, только имя от него осталось.

– Вот и с Бетти Крокер⁵ та же история. Люди такие сволочи! Ну а чему вас все-таки учат? Я откидываюсь на спинку скамейки и задумываюсь.

– В общем, начинают с греческой мифологии – Зевс, Посейдон, Аид и вся компания. У меня до сих пор где-то валяется мое первое сочинение. Я его писала еще в дошкольной группе. Про Полифема. Это был такой пастух. А еще он был циклоп и людоед. Хотел сожрать Одиссея. Но Одиссей выколол ему палкой глаз и сбежал.

Джимми потрясенно смотрит на меня.

– Дошкольников учат таким кошмарам? Врешь небось.

– Ей-богу. А потом у нас была римская мифология. Потом скандинавская. Потом божества американских индейцев. Языческий пантеизм. Кельтские боги. Буддизм. Истоки иудаизма и христианства и ислама.

– Но зачем?!

– Хотят, чтобы мы знали. Им это очень важно, понимаешь? Чтобы мы знали.

– Знали что?

– Что это миф.

– Что – миф?

– Все, Джимми. Все – миф.

Джимми какое-то время молчит. Потом спрашивает:

– Значит, ты закончишь эту крутую школу и уйдешь ни с чем? Это же получается – не за что держаться в жизни. Не во что верить.

– Ну почему, в одну штуку нас учат верить.

– Ага. И что это за штука?

– Преображающая сила искусства.

Джимми качает головой.

– Преступники. Разве можно так издеваться над детьми? Да за это сажать надо! Хочешь, я сообщу куда следует?

– А можешь?

– Считай, дело сделано. У меня друзья в полиции, – говорит он и кивает с многозначительным видом.

Ну да, ну да, не сомневаюсь. Дик Трейси⁶ возьмется за дело.

Я убираю гитару. Ноги ломит от холода. Я торчу здесь уже несколько часов. Сейчас полтретьего, до урока осталось тридцать минут. Есть один-единственный человек, ради которого я готова ходить в школу: учитель музыки Натан Гольдфарб.

Я встаю и собираюсь уйти, но Джимми меня окликает:

– Слышь, дочка...

– Что?

Он достает из кармана монетку. Двадцать пять центов.

– Купи себе колу. Нет, лучше две! Себе и своему парню.

– Ой, Джимми, ты что, не надо...

⁵ Рекламный персонаж, выдуманный в 1921 году для повышения продаж муки и других продуктов. В 1945 году несуществующая домохозяйка Бетти Крокер была названа журналом «Форчун» самой популярной женщиной в Америке после Элеоноры Рузвельт.

⁶ Герой комиксов, непобедимый борец с преступностью.

У Джимми ничего нет. Он живет в доме престарелых на Хикс-стрит. Ему выдают всего несколько долларов в неделю на расходы.

– Возьми. Мне будет приятно. Ты же совсем девчонка. Тебе надо сидеть в тепле, в кафешках, с мальчиками, а ты торчишь здесь на морозе как неприкаянная, болтаешь со всякими оборванцами.

– Хорошо. Спасибо, – говорю я и вымучиваю из себя улыбку. Мне больно брать его деньги, но если их не взять, я сделаю больно ему.

Джимми тоже улыбается.

– Дай ему себя поцеловать. Ради меня. – Он поднимает палец. – Всего один разочек. В щечку.

– Заметано.

У меня не хватает духу признаться ему, что у меня уже был далеко не один мальчик. И что в щечку давно никто не целуется. На дворе двадцать первый век – расстегивай джинсы или закатывай губу.

Я протягиваю руку за монетой. Джимми ошеломленно присвистывает.

– Ты чего?

– Что это у тебя?

Оказывается, палец с оторванным ногтем все еще кровоточит.

Я вытираю кровь о джинсы.

– Покажись врачу, – говорит Джимми. – Выглядит нехорошо.

– Да, пожалуй.

– Тебе, наверное, больно. Тебе больно?

– Да, Джимми. Мне всегда больно.

3.

– Мисс Альперс?

Ну все, я попала. Останавливаюсь и медленно поворачиваюсь. Этот голос знает вся школа. Аделаида Бизмайер. Она же Бизи. Директриса.

– У тебя есть пара минут?

– Вообще-то, мисс Бизмайер, я спешу на музыку.

– Я позвоню мистеру Гольдфарбу и скажу, что ты задержишься. Зайди ко мне.

Она жестом приглашает меня в свой кабинет и звонит Натану.

Я вхожу, ставлю чехол с гитарой на пол и сажусь.

На часах – 3:01. Целая минута урока ушла безвозвратно. Шестьдесят секунд музыки, которые никогда ко мне не вернутся. Нога начинает мелко подрагивать. Приходится надавить на колено, чтобы успокоиться. Бизи кладет трубку и спрашивает:

– Хочешь ромашкового чаю? Я только что заварила.

– Нет, спасибо.

На столе перед ней лежит папка с моим именем. Диандра Ксения Альперс. В честь обеих бабушек. Я стала представляться «Анди», как только научилась говорить.

Все это не к добру. Бизи суетится у стола, похожая на хоббита.

В любое время года она обута в биркенстоки и одета во что-то лилово-климактерическое. Неожиданно она оборачивается, и я отвожу взгляд. Подоконник заставлен вазами, с потолка свисают кашпо. На отдельной тумбе стоят горшки и миски всех оттенков грязи, покрытые глазурью.

– Нравятся? – спрашивает она, кивая на глиняную экспозицию.

– Впечатляет.

– Это я сама делаю. Люблю керамику.

Моя мама тоже ее любит. Швырять об стену.

– Такое у меня хобби, – поясняет Бизи. – Творческая отдушина.

– Ничего себе. – Я смотрю на кашпо. – Вон то напоминает мне «Гернику».

Бизи польщенно улыбается.

– Правда?

– Нет, конечно.

Улыбка соскальзывает с ее лица.

Теперь она должна выпереть меня из кабинета. Я бы на ее месте так и сделала. Но она молча ставит чашку с чаем на стол и садится в кресло. Я снова смотрю на часы. 3:04. Нога дергается еще сильнее.

– Анди, перейдем к делу. Меня вот что заботит, – произносит она, открывая мою папку. – Завтра начинаются зимние каникулы, а ты до сих пор не подала заявку ни в один колледж. И даже не составила план выпускного проекта. Вот, я вижу, ты выбрала прекрасную тему... У тебя в обосновании говорится... сейчас... «Французский музыкант восемнадцатого века Амадей Малербо – один из первых композиторов периода классицизма, писавший музыку преимущественно для гитары».

– Для шестиструнной, – уточняю я. – Другие писали для лютни, мандолины, виуэлы и для барочной гитары.

– Любопытно, – произносит Бизи. – Мне нравится название проекта: «Я твой отец, Джонни! Установление музыкального родства Джонни Гринвуда и Амадея Малербо».

– Спасибо. Это Виджей придумал. Сказал, что моя версия, «Музыкальное наследие Амадея Малербо», недостаточно претенциозна.

Бизи пропускает это мимо ушей, кладет папку обратно на стол и смотрит на меня.

– Почему же работа стоит?

Да потому что мне стало все равно, мисс Бизмайер. Так и подмывает сказать ей это вслух. Мне безразличен Амадей Малербо, безразлична учеба, все безразлично. Потому что серый мир, в котором я как-то умудрялась выживать последние два года, начал чернеть по краям. Но так говорить нельзя. Это прямая дорога назад, в кабинет доктора Беккера, который просто выпишет мне еще один курс отупляющих колес.

Я откидываю прядь с лица – тяну время, подбирая слова.

– Господи, Анди, что с твоей рукой? Что произошло?

– Бах.

Она качает головой.

– Нарочно делаешь себе больно, да? Прогулы, плохие оценки, а теперь уже и музыку используешь, чтобы себя калечить? Как будто приговорила себя к вечным мукам. Остановись, Анди. Что случилось, то случилось. Прости себя.

Во мне кольцами разворачивается ярость. Кровавая, ядовитая. Совсем как недавно, когда придурок из Слейтера коснулся ключа на моей шее. Я отвожу взгляд, пытаюсь взять себя в руки, от всей души желая, чтобы Бизи прямо сейчас выбросилась из окна вместе со своими уродливыми горшками. Чтобы я слышала ноты и аккорды, а не ее голос. Чтобы звучала первая сюита Баха, сочиненная для виолончели и потом переписанная под гитару. Я должна играть ее с Натаном, в эту самую минуту.

Первым делом он каждый раз меня спрашивает:

– Ну, как живешь, крейзи даймонд⁷?

Его любимые композиторы – Бах, Моцарт и ребята из «Пинк Флойд».

Натан – старик. Ему семьдесят пять. Мальчишкой он потерял семью в Освенциме. Его мать и сестра погибли в газовой камере в день поступления в лагерь, поскольку негодились

⁷ *Crazy diamond* («безумный алмаз», *англ.*) – образ из песни «Shine On You Crazy Diamond» группы «Пинк Флойд».

в качестве рабочей силы. Натан выжил, потому что был вундеркиндом: в свои восемь лет он потрясающе играл на скрипке. Его каждый вечер звали в столовую – играть офицерам за ужином. Им нравилось, и они отдавали ему обеды. Поздней ночью он возвращался в барак и тайком отрывал пищу для отца. Но однажды их застукали. Его избили до крови, а отца увели.

Я знаю, что сказал бы Натан про мою руку. Что пролить кровь ради Баха – это ничто. Бетховен, Билли Холидей и Сид Барретт отдали музыке все, что у них было. Подумаешь, ноготь. Он бы не стал делать из этого трагедию. Он знает, что такое настоящая трагедия. Что такое потеря. И он понимает, что прощение – невозможно.

– Анди! Анди, ты меня слушаешь?

Бизи никак не успокоится.

– Слушаю, мисс Бизмайер, – отзываюсь я, надеясь, что если изобразить смирение, то разговор закончится быстрее.

– Мне даже пришлось отправить твоим родителям уведомления о твоей успеваемости. Одно матери, другое отцу.

Первое я видела. Почтальон сунул его в щель для писем. Оно валялось на полу в прихожей целую неделю, пока я не пнула его в угол, чтобы не мешалось под ногами. Я не знала, что Бизи наядбедничала еще и отцу, но это не важно. Он никогда не читает почту. Почта – для простых смертных.

– Может, объяснишь, что происходит, Анди? Скажи хоть что-нибудь.

– Ну... Мне все это кажется ненужным, мисс Бизмайер. Понимаете? Весь этот проект... Он ни к чему. Давайте я просто получу аттестат в июне и покину вас, а?

– Для этого требуется успешный выпускной проект, как ты прекрасно знаешь. Иначе мы не сможем выдать тебе аттестат.

Это было бы несправедливо по отношению к твоим одноклассникам.

Я киваю. Мне все равно. Я страшно хочу на музыку.

– А что насчет заявок на поступление в колледж? Джейкобс? Истменовская школа? Джулиард, наконец? – перечисляет Бизи. – Ты уже написала эссе? Договорилась о собеседованиях?

Я нетерпеливо мотаю головой. Теперь у меня дергаются обе ноги. Я взмокла. Я дрожу. Хочу на урок. К моему учителю. К моей музыке. Она мне очень нужна. Остро необходима. Прямо сейчас.

Бизи тяжело вздыхает.

– Тебе надо закрыть гештальт, Анди, – говорит она. – Конечно, это тяжело. Твои чувства понятны – по поводу Трумена и всего, что случилось. Но сейчас речь не о Трумене, а о тебе. О твоём невероятном таланте. И о твоём будущем.

– Да нет же, мисс Бизмайер, нет!

Все, меня понесло. У Бизи добрые намерения. Она хорошая тетка и хочет мне помочь. Но – поздно. Зря она заговорила о Трумене. Зря произнесла его имя. Меня охватывает ярость, я не могу ее сдерживать.

– Речь не обо мне. Речь о вас, – говорю я. – Точнее, о циферках. Если в прошлом году в Принстон поступило двое выпускников, то в этом надо, чтоб четверо. Вот что вас интересует. Все, в общем, понятно: обучение стоит как годовая зарплата в штате Нью-Гемпшир. Кто согласится платить такие деньги, чтобы дети потом поступили в заholустные колледжи? Родителям подавай только лучшие университеты: Гарвард, Массачусетс, Браун. Вот почему вас так парит, куда это я поступлю, мисс Бизмайер. Это надо вам, а не мне! Так что речь всю дорогу – о вас.

Бизи моргает так, словно ее ударили.

– Боже мой, Анди, – произносит она. – Ты думаешь, я совсем бессердечная?

– Я не думаю, я знаю.

Она несколько секунд молчит. Ее глаза становятся влажными. Прокашлявшись для порядка, она произносит:

– Каникулы заканчиваются пятого января. Очень надеюсь к тому времени увидеть твой выпускной проект в черновом виде. Если этого не случится – боюсь, придется тебя исключить.

Я едва разбираю, что она говорит. Я распадаюсь на части. В моей голове и в руках вибрирует музыка, и я взорвусь, если сейчас же не выпущу ее наружу.

Хватаю гитару. На часах 3:21. Осталось всего тридцать девять минут. К счастью, в коридорах почти никого. Я мчу сломя голову, не глядя по сторонам, не глядя под ноги, но вдруг спотыкаюсь обо что-то и падаю – ударяюсь об пол сразу коленями, грудью и подбородком. Гитара грохается рядом и отлетает в сторону.

Правое колено звенит от боли. Во рту привкус крови, но мне все равно. Главное – гитара. Она принадлежит Натану, и я обещала ее беречь. Это «Хаузер» сороковых годов. Я подкатываюсь ближе к чехлу. Открыть его удастся не с первой попытки – руки дрожат. Наконец я справляюсь с молнией и обнаруживаю, что все в порядке. Гитара цела. Снова застегиваю чехол, вздыхаю с облегчением и остаюсь лежать на полу, потому что встать нет сил.

– Упс.

Я поднимаю взгляд. Купер. Он пятится от меня по коридору и хихикает. С ним Арден Тоуд.

Все понятно. Подножка. Возмездие за утренний наезд.

– Ты бы поосторожнее, Анди. Так можно шею свернуть, – говорит он.

Я качаю головой.

– Не, безмазняк. Я пыталась. Но я ценю, что ты хотел поспособствовать, Куп.

С моей губы капает кровь.

Купер замирает на месте, подавившись смешком. Теперь он выглядит смущенным, даже испуганным.

– Долбанутая, – шипит Арден и тащит его за локоть.

Я кое-как встаю и хромаю дальше по коридору. Сворачиваю за угол. Ну наконец-то. Я распахиваю дверь.

Натан отрывает взгляд от нот и улыбается.

– Как живешь, крейзи даймонд?

– Крейзи, как всегда, – отзываюсь я. Получается хрипло.

Его кустистые брови ползут вверх. Глаза, которые из-за очков кажутся огромными, изучают мою разбитую губу и испачканную в крови руку. Он пересекает класс и берет с подставки гитару.

– Сыграем, да?

Я вытираю губу рукавом.

– Сыграем, Натан. Сыграем. Сыграем.

4.

Я всегда возвращаюсь домой длинным путем.

С Пьерпонта по Уиллоу и дальше по улицам, сохранившим дух старого Бруклина. Затем направо, на улицу Крэнберри. Я там живу.

Но сегодня холодно, я иду низко опустив голову и так увлеченно перебираю в воздухе аккорды первой сюиты, что случайно сворачиваю на Генри.

Мы с Натаном играли несколько часов. Прежде чем начать, он достал из кармана носовой платок и протянул мне.

– Что стряслось?

– Упала.

Он посмотрел на меня поверх очков. У этого взгляда неизменный эффект сыворотки правды.

– Бизи заговорила о Трумене. И о гештальте. И дальше как-то пошло-поехало...

Кивнув, Натан сказал:

– Это словечко, «гештальт»... дурацкое, да? Бах не верил ни в какой гештальт. И Гендель не верил. И Бетховен. Только американцы вечно носятся со своими гештальтами. Потому что американцы как дети малые, легко ведутся на всякую чушь. Бах верил, что надо писать музыку, да?

Он продолжал смотреть на меня в ожидании ответа.

– Да, – отозвалась я.

Потом мы играли. Я была откровенно не в форме, но он меня не щадил и чертыхался, как пират, всякий раз, как я запарывала перебор или сбивалась с ритма. Когда мы закончили, было уже восемь.

На зимних улицах холодно и темно. Со всех сторон цветные фонарики подмигивают праздничным божествам. Зеленые с красным – Рождеству и Санта-Клаусу. Синие – Иуде Маккавею и Хануке. Белые – королеве стиля Марте Стюарт⁸. Мне приятно чувствовать морозный воздух щеками.

Я выжата как лимон.

И оттого спокойна.

И оттого же – рассеянна.

Потому что внезапно передо мной вырастает Темплтон.

Когда-то здесь был отель «Сент-Чарльз», а сейчас это просто жилая многоэтажка. Восемьдесят этажей ввысь, два квартала вширь – ее уродливая тень пожирает все вокруг днем и ночью. Витрины первого этажа всегда сияют, даже когда магазины закрыты. Здесь продают базиликовый сорбет, пастилу из айвы и еще кучу непонятно чего и зачем. На верхних этажах – элитные квартиры, цены от полумиллиона.

Почти два года я не подходила так близко к Темплтону. Я застываю на месте и смотрю на него в упор. Но вижу «Сент-Чарльз». Джимми Башмак говорит, что когда-то он славился своей роскошью. В тридцатых. На крыше были бассейн с морской водой и прожекторы, светящие в небо. В ресторане наверху любили пообедать «Доджерсы», гангстеры выгуливали тут хорошеньких танцовщиц, а музыканты до рассвета играли свинг.

Два года назад роскоши уже не было и в помине. Здание разваливалось на глазах. Что-то уничтожил пожар. В сохранившейся части жили алкоголики и безработные на пособии. У подъезда ошивались торговцы наркотой. По коридорам рыскали ворюги. Двери всегда были распахнуты, и вход напоминал оскаленную пасть, из которой несло плесенью, кошачьей мочой и запустением. Кроме запахов помню еще звуки. Какой-то жесткач, грохочущий из бумбоков, вопли многодетной миссис Ортеги, репортаж о матче «Янкиз», хрипящий из допотопного приемника миссис Флинн.

Но ярче всего я помню голос Макса. Он до сих пор кричит в моей голове, и его никак не заткнуть.

– Я – Максимилиан Эр Питерс! Я неподкупен, неумолим и несокрушим! – кричит он. – Грядет революция, дети мои! Грядет революция!

Вот он, тот самый тротуар. Я хочу отвести взгляд, но не могу. Здесь все и случилось. Прямо здесь, в нескольких шагах от меня. Возле той длинной трещины с изломами, откуда Макс шагнул на проезжую часть, увлекая за собой Трумена.

Кровь давно смыли дожди, но я до сих пор вижу, как она лепестками растекается под маленьким изувеченным телом моего брата. И в этот момент тоска, которая всегда живет во

⁸ Марта Стюарт – известная американская писательница и телеведущая, получившая известность благодаря советам по домоводству и дизайну. Считается мерилом хорошего вкуса преимущественно среди домохозяек.

мне свернувшись жгутом, разворачивается с такой силой, что, кажется, сейчас разорвет мое сердце и от меня останутся одни мелкие клочки.

– Хватит, – шепчу я зажмурившись.

Когда я снова открываю глаза, я вижу брата. Он не умер. Он стоит на дороге и смотрит на меня. Этого не может быть. Но он тут, передо мной. Господи, вот он! Я бросаюсь на дорогу.

– Трумен! Прости меня, Тру! Прости меня! – Я рыдаю, протягиваю к нему руки и жду, что он ответит мне: успокойся, это был кошмар, но теперь он закончился, и все будет хорошо.

Вместо его голоса раздается скрежет тормозов. Я оборачиваюсь. На меня несется машина.

Мои инстинкты кричат: беги! Но я стою как вкопанная. Пусть это случится. Я хочу, чтобы тоска прекратилась. Машина истерично тормозит и становится поперек дороги. Запах горелой резины. Чьи-то крики.

Женщина, которая была за рулем, выскакивает на дорогу и хватается за куртку. Ее бьет дрожь, в глазах стоят слезы.

– Идиотка! – кричит она. – Я же могла тебя задавить!

– Жаль.

– Непохоже, что тебе жаль!

– Жаль, что не задавили.

Она отпускает меня и делает шаг назад.

Вокруг останавливаются машины. Кто-то сигналист. Я ищу глазами Трумена, но он исчез. Конечно. Его здесь и не было. Это все таблетки. Доктор Беккер предупреждал, что могут начаться глюки, если переборщить с дозой.

Я хочу поскорее убраться отсюда, хотя бы уйти с проезжей части, но меня так трясет, что я едва волочу ноги. На тротуаре какой-то мужик стоит и тарашится на меня. Я показываю ему средний палец и плетусь домой.

5.

– Мам? – Я распахиваю дверь.

Тишина. Это плохой знак.

Я пробираюсь через прихожую, расшвыривая ногами почту на полу. Счета. Еще счета. Письма от риелторов, которые предлагают выгодно продать наш дом. Открытки из галерей. Очередной выпуск «Жертвоприношения» – дурацкого школьного альманаха с прозой и стихами учеников. Письма отцу – от тех, кто еще не знает, что он больше года назад переехал в Бостон, чтобы заведовать отделением генетики в Гарварде.

Мой отец – именитый генетик. Его знает весь мир.

Моя мать – потеряла рассудок.

– Мам, ты где?

По-прежнему тишина. Я чувствую, как пульс начинает бить тревогу, и бегу в гостиную.

Она там. Не стоит босиком во дворе, разглядывая снег в своих ладонях. Не бьет посуду на кухне. Не лежит на кровати Трумена, свернувшись в позу эмбриона. Она сидит за мольбертом и пишет.

Я вздыхаю с облегчением и целую ее в лоб.

– Как ты?

Она кивает и гладит меня по щеке, не отрывая взгляда от холста.

Я хочу, чтобы она спросила, как у меня дела. Хочу рассказать о случившемся на Генри-стрит. Хочу услышать: никогда так больше не делай. Хочу, чтобы она на меня накричала. Чтобы обняла и прижала к себе. Но она не может.

Она пишет очередной портрет Трумена. Их уже не сосчитать. Они висят на стенах, стоят на стульях и на пианино. Лежат стопкой у входа в комнату. Мой брат повсюду, куда я ни взгляну.

На полу в кучах стружки валяются инструменты. Она любит сама делать подрамники. Везде разбросаны мятые тряпки и выдавленные серебристые тюбики. Тут и там на полу пятна краски. Я чувствую запах масла. Это мой самый любимый в мире запах. Я вдыхаю его – и на долю секунды все становится как прежде, когда Трумен еще был жив.

Зябкий осенний вечер, идет дождь. Мы сидим в гостиной – мама, я и Трумен. В камине горит огонь. Мама пишет очередной натюрморт. Они у нее такие замечательные. Про тот, что висит в музее Метрополитен, критик из «Таймс» как-то написал: «самодостаточный маленький мир». Однажды она нарисовала крохотное гнездо с голубым яйцом, уютно свернувшееся под изгибом старинной швейной машинки. В другой раз – опрокинутую корзинку с шитьем, из которой рассыпались катушки, окружив кофейную чашку со щербинкой. На моей любимой картине – красный амариллис и музыкальная шкатулка. Трумен похож на маму, он всегда что-нибудь рисует, пока она за мольбертом. А я играю на гитаре. В комнате темнеет, дождь превращается в ливень, но нам все равно. Мы вместе, сидим в свете камина, мы – самодостаточный маленький мир.

Иногда отец сидел с нами. Он возвращался домой поздно, усталый, с красными глазами, пахнувший аптекой. Бесшумно входил в гостиную и садился на краешек дивана. Как гость. Как застенчивый наблюдатель.

Я спрашиваю:

– Хочешь му шу?

Она кивает, но тут же хмурит брови.

– С глазами что-то не так, – говорит она. – Не похожи.

– У тебя все получится, мам.

Я знаю, что это неправда. Даже если бы за дело взялись одновременно Вермеер и Рембрандт с Да Винчи, у них бы ничего не получилось. Может, они бы даже угадали оттенок – яркосиний, неправдоподобный, занебесный, – но это бы все равно получился не Трумен, потому что его глаза были совершенно прозрачны. Говорят, что глаза – зеркало души. Это про моего брата. Глядя ему в глаза, можно было увидеть все, о чем он думал, и что чувствовал, и что любил. Там были Лира и Пантелеймон. Египетский храм Дендур. Самодельные ракеты из бутылок. Гарри Каспаров. Песни Бека. Комиксы «Кьюма». Хот-доги с соусом чили и сыром. Бейсболист Дерек Джитер. И мы.

Я иду на кухню и звоню в службу доставки. Порция му шу, два яичных ролла и лапша с кунжутом. Заказ привозит Вилли Чен. Я знаю по именам всех окрестных курьеров. Раскладываю еду по двум тарелкам и ставлю одну на столик возле мольберта. Мама даже не смотрит, но среди ночи что-нибудь съест – я знаю, потому что всегда просыпаюсь часа в два и спускаюсь ее проводить. Иногда она в это время еще работает. Иногда просто сидит и смотрит в окно.

Каждый вечер я ужинаю одна в нашей гулкой столовой. Но это не плохо. Можно в свое удовольствие заниматься музыкой, и никто не придет капать мне на мозги, что я заваливаю математику и слишком поздно возвращаюсь домой, или требовать объяснений, почему в моей постели опять дрыхнет какой-то сомнительный тип.

– Тебе надо поесть, – говорю я, зайдя через полчаса, чтобы поцеловать ее перед сном.

– Да, да, обязательно. – Она отвечает мне по-французски, не отрывая взгляда от глаз Трумена. Она француженка, моя мать. Ее зовут Марианна Ла-Рен. Иногда она говорит по-английски, иногда – по-французски. Но теперь чаще всего молчит.

Я поднимаюсь к себе в обнимку с айподом. Нужно перед сном послушать «Пинк Флойд». Это мое домашнее задание.

Несколько дней назад я принесла Натану демозаписи своих сочинений. Я использовала переменные размеры и наложила стильные эффекты. Наслоила друг на друга разные гитарные и голосовые партии с помощью лупера. И назвала все это дело «Гипсовый замок». Мне казалось, что песни получились ничего себе. Что-то в духе «Соник Юс», если смешать их с «Дерти Прожекторс».

Однако Натану не показалось, что песни ничего себе.

– Безобразно! – резюмировал он. – Шумовая каша. Надо научиться делать больше, но с меньшим количеством ингредиентов.

– Вот спасибо, Натан, – разозлилась я. – Большое человеческое. Может, вы меня и научите?

Он посоветовал послушать гитарную партию, которая идет спустя четыре минуты после начала композиции «Shine On You Crazy Diamond», – там всего четыре ноты, но они звучат ровно так, как должна звучать настоящая тоска. Я ответила, что мне не нужно слушать какого-то старого психонавта, чтобы узнать, что такое тоска. Я сама хорошо с ней знакома.

– Этого мало, – сказал Натан. – Мой шнауцер тоже знаком с тоской. Но вот что здесь важно: умеешь ли ты выразить это знание? Это чувство?.. Надо понимать разницу.

– Между мной и шнауцером?

– Между искусством и фуфлом.

– Значит, моя музыка – фуфло? Больше никогда ничего вам не покажу.

Натан на это ответил:

– Давным-давно, в семьдесят четвертом, случился день, когда Дэвиду Гилмору⁹ было тоскливо. И что? Кому какое дело, спрашивается? Мне – есть дело. Спросишь почему? Потому что он породил удивительную музыкальную фразу. Она цепляет. Если ты пишешь музыку, которая цепляет, – bravo! А пока ты этому только учишься, надо сидеть тихо и слушать тех, кто это уже сумел.

Большинство учителей в Св. Ансельма говорят, что я гений. Что мне подвластно все и я могу стать кем угодно. Что мои возможности безграничны и нужно хватать звезды с неба. Натан – единственный, кто обзывает меня «Dummkopf»¹⁰ и требует, чтобы я пятьсот раз перед сном играла «Сарабанду» из ми-минорной сюиты для лютни Баха, потому что только так можно вдолбить ее в мою дурью башку. После хвалебной патоки, которой сочатся остальные преподы, ворчанье Натана – такое счастье, что я каждый раз чуть не плачу.

Добравшись до своей комнаты, я стягиваю джинсы и бросаю их на пол вместе с ремнем. Я сплю в нижнем белье. Направляясь к кровати, замечаю свое отражение в зеркале. Тощая как пацан, бледная, с темными подглазьями и крысиными косичками, при каждом движении слышно бряцанье железных фенек.

Арден Тоуд в свое время придумала игру под названием «Подмена в роддоме»: она эсэм-эсит всему классу чье-нибудь имя и объявляет, что бедолагу по ошибке забрали из роддома чужие люди.

На это все эсэмэсят ей свои версии, кто настоящие родители жертвы. Арден выбирает лучшие варианты и постит их на фейсбуке вместе с фотографиями, чтобы все поржали над сходством. Так однажды выяснилось, что мои родители – Мэрилин Мэнсон¹¹ и капитан Джек Воробей. Немудрено, что Арден заваливает биологию.

Я стаскиваю с себя футболку. Ключ запутывается в моих волосах. Я выпутываю его, и он весь сияет в моей руке, несмотря на тусклое освещение. Совсем как Трумен сиял.

⁹ Гитарист и автор многих композиций группы «Пинк Флойд».

¹⁰ Балда (нем.).

¹¹ Американский рок-музыкант, известный помимо прочего своим эпатажным сценическим образом.

Хорошо помню, как он нашел этот ключ. Накануне была суббота и родители ужасно ругались. Крики, плач, снова крики. Я тогда ушла в свою комнату и включила телевизор погромче, чтобы их не слышать. И забрала к себе Трумена, надеясь отвлечь его «Затерянными в космосе»¹², но он не захотел смотреть кино. Он встал у порога и слушал. Родители всегда ругались про одно и то же: мама злилась, что отца не бывает дома, а отец – что мама не хочет его понять.

– По-твоему, деньги на деревьях растут? – кричал он. – Я работаю до упаду, чтобы обеспечить достойную жизнь тебе и детям. Чтобы мы могли позволить себе этот дом. Чтобы Анди и Трумен могли учиться в этой школе...

– Не говори ерунды! У нас уже куча денег. И я это прекрасно знаю, и банк это знает, и школа это знает. И ты, ты тоже это знаешь.

– Слушай, давай прекратим, а? Уже поздно, я устал. Я все-таки целый день работал.

– О да! А потом еще целый вечер!

– Марианна, черт возьми, ну что тебе от меня нужно?

– Нет, вопрос в другом. Тебе – что нужно тебе, Льюис? Я думала, что я тебе нужна. И дети. Но, видно, ошибалась. Так объясни мне. Скажи правду хоть раз. Что тебе по-настоящему нужно?

К этому моменту я тоже перестала смотреть «Затерянных». Я стояла на пороге рядом с Труменом. Несколько секунд было тихо, а потом мы услышали его ответ. Он произнес его негромко, он больше не кричал. Теперь это было ни к чему.

– Мне нужен ключ, – сказал отец. – Ключ к Вселенной. К жизни. К будущему и прошлому. К любви, к ненависти. К истине. К Богу.

И этот ключ существует. Внутри нас. В человеческом геноме. В нем ответ на все вопросы. И я хочу его найти. Вот что мне нужно по-настоящему. – Он помолчал и повторил: – Мне нужен ключ.

После этого я закрыла дверь своей комнаты. Мы с Труменом не разговаривали, только сидели на кровати и смотрели, как доктор Смит рассекает в велюровом костюме космического путешественника. Что нам еще оставалось? Разве мы могли противопоставить себя – будущему и прошлому, истине и Богу? Мы – мама с ее птичьими гнездами и кофейными чашками, Трумен, я, все наши детские глупости... Даже думать смешно. Отцу было безразлично, какую музыку я слушаю и что за мультик Трумен пересматривает в десятый раз. Его занимали дела поинтереснее. Это понятно: ну кого ты выберешь, если у тебя есть шанс потусить с Джонни Рамоном¹³, или с Магнето¹⁴, – или с самим Господом Богом?

На следующее утро мама встала очень рано. Мне кажется, она вообще не ложилась. Когда мы с Труменом спустились к завтраку, глаза у нее были красные, а на кухне пахло сигаретным дымом.

– Съездим на блошку? – предложила она.

Мама обожала бруклинский блошинный рынок. Ей всегда удавалось находить вдохновение в грустных, увечных вещицах. В обтрепанных лентах, потрескавшихся миниатюрах, поломанных игрушках. У каждой находки – своя судьба, и мама любила придумывать, какая именно, а потом рассказывать нам.

Мы сели в машину и поехали в Форт Грин. В тот день мама нашла нелепое кашпо на трех ножках и заявила, что это ночной горшок Елизаветы Тюдор. Потом ей попало увеличительное стекло, которым Шерлок Холмс пользовался в Баскервиль-холле, а потом серебря-

¹² Фильм 1998 года в жанре научной фантастики.

¹³ Гитарист американской группы «Рамонз», иногда считается одним из «дедушек» панк-рока.

¹⁴ Суперзлодей из комиксов «Марвел» и серии фильмов про «Людей Икс».

ное кольцо в форме дракона, которое Мата Хари надела перед казнью. Я откопала винтажную футболку с надписью CLASH¹⁵.

А Трумен что-то искал во всех коробках с мелочовкой: перебирал ржавые замки, сломанные перьевые ручки, штопоры и открывалки – пока не нашел его. Небольшой почерневший от времени ключ.

Я стояла рядом, когда он его откопал. Старьевщик продал его за доллар и рассказал, что нашел этот ключ на улице Бауэри, в ящиках с хламом, выставленных на тротуар возле старого театра «Парадайс».

– У здания провалилась крыша, владелец совсем его запустил! – возмущался старьевщик. – Теперь власти собираются снести театр, чтобы построить там качалку. Наш мэр – идиот. Театр стоял там с тысяча восемьсот восьмого года! А кому нужно столько качалок? Кто в них вообще ходит, если в мире все больше жирдяев?

Возвращаясь к машине, Трумен спросил:

– А у нас есть чем почистить серебро?

– Есть средство под раковиной, – ответила мама. – Тру, приглядишься-ка, тут сверху лилия. Королевский символ. Наверное, ключ принадлежал Людовику XIV.

Она тут же начала сочинять историю про ключ, но Трумен ее остановил:

– Это не сказочный ключ, мам. Он всамделишный.

Когда мы вернулись домой, Трумен начистил его до блеска.

– Какая красота! – воскликнула мама, когда Трумен показал ей, как он сияет. – И смотри, тут выгравирована буква «L». Значит, я была права! Это наверняка означает «Людовик». Что скажешь?

Трумен ей не ответил. Он спрятал ключ в карман и в следующий раз достал его только два дня спустя. Был поздний вечер, четверг. Мы вдвоем сидели в гостиной – мы с Труменом делали домашку, а мама писала картину. И тут открылась входная дверь. Отец вернулся. Мы удивленно переглянулись.

Он неловко держал букет цветов и мялся на пороге, словно сын мельника, который пришел свататься к принцессе и боится, что сейчас его с позором и насмешками выгонят из замка. Но принцесса не смеялась. Она улыбнулась и пошла на кухню за вазой. Пока ее не было, отец открыл наши тетради, просмотрел дробь Трумена и мои алгоритмы, чтобы чем-то себя занять и чтобы не пришлось с нами разговаривать. Потом он сел на диван и стал тереть пальцами виски.

– Пап, ты устал, да? – спросил Трумен.

Отец опустил руки и кивнул.

– Все эта твоя тэ-лен-ка?

Отец засмеялся. Когда Трумен был совсем маленьким, он слышал, как отец рассказывает про ДНК, и все время пытался повторить. У него получалось – тэ-лен-ка. С тех пор он всегда так и говорил.

– Да, Тру, все она. Но мы уже близко. Мы очень близко.

– К чему?

– К разгадке генома. Ко всем ответам. К тому, чтобы найти ключ.

– Тебе больше не надо его искать.

– Что значит – не надо?

Трумен извлек из кармана свой серебряный ключик и вложил отцу в ладонь. Отец непонимающе уставился на него.

– Вот, это ключ, – сказал Трумен.

– Да, вижу.

¹⁵ Британская панк-группа.

– Это особенный ключ.

– Чем же?

– На нем буква «L». Это значит – любовь. Понимаешь? Это ключ к Вселенной, пап. Ты же его искал. Ты маме говорил, что ищешь.

Я его нашел для тебя, так что все, больше не надо искать. И можно возвращаться домой не поздно.

Отец еще секунду держал ключ в раскрытой ладони, потом крепко сжал в кулаке.

– Спасибо, Тру, – сказал он почти шепотом и привлек Трумена к себе. – Я тебя люблю. Обоих вас люблю. Вы же знаете, да? – спросил он, обнимая Трумена и глядя на меня.

– Да, – сдавленно ответил Трумен, а я кивнула, чувствуя себя неловко, будто дальний родственник, почти чужой человек, сделал тебе слишком дорогой подарок. Раздался всхлип. На пороге застыла мама. В ее глазах стояли слезы.

Дальше все было хорошо. Пару месяцев. А потом он добился своего – разгадал геном. Ему дали Нобелевскую премию, и мы почти совсем перестали его видеть. Он ездил в Стокгольм, в Париж, в Лондон и в Москву. А если он бывал в Нью-Йорке, то все равно приходил домой, когда мы уже спали, и уходил раньше, чем мы просыпались. Снова начались ссоры. И однажды, когда его не было целых две недели, Трумен зашел в его кабинет и забрал ключ. Я видела, как он стоит во дворе, сжимая его в кулаке, и смотрит на первую вечернюю звезду. Я не спрашивала – мне и так было понятно, что он загадал. И еще мне было понятно, что его мечта не сбудется. Потому что гениям никто не нужен.

Ключ был у Трумена с собой в тот день, когда он погиб. В больнице мне вынесли одежду, и я нашла его в кармане джинсов. Я смыла кровь, продела сквозь него ленту и завязала вокруг шеи. И с тех пор не снимала.

Теперь я пью таблетки. Двадцать пять миллиграммов дважды в день – так написано в инструкции. Я принимаю по пятьдесят. Бывает, что и больше. Потому что прописанная доза не действует, все остается на месте – и ярость, и тоска, и безудержное желание выскочить на дорогу перед лихачом. Если принять слишком мало, то я не могу встать с кровати, а если слишком много – вижу то, чего нет. В основном всякие мелочи вроде несуществующих паучков на стене. Но случаются и глюки посерьезнее – например, встреча с покойным братом на улице.

Я выключаю свет, забираюсь в постель, нахожу на айпode «Пинк Флойд» и включаю «Shine On You Crazy Diamond». То есть делаю домашнее задание. Пара минут потусторонних синтезаторов, потом вступает задумчивая гитара – звучат четыре ноты, ясные и пронзительные: си-бемоль, фа, соль, ми.

Я перебираю в темноте пальцами по невидимому грифу. Четыре ноты. Натан был прав. Дэвид Гилмор выразил тоску в четырех нотах.

Я слушаю альбом дальше – песни про безумие, любовь, утрату. Слушаю и слушаю, пока не засыпаю. И тогда мне снятся сны.

Мне снится, как отец держит в ладонях гнездо с голубыми птичьими яйцами. Снится маленький мальчик со скрипкой, играющий для людей, у которых глаза как черные дыры. Снится Трумен. Он в гостиной, спускается с одного из портретов. Пересекает комнату и приближается ко мне странной медленной походкой.

У него сломан позвоночник. Он тянется к моему лицу, целует меня в щеку и холодными бескровными губами шепчет мне в ухо:

*Come on you raver, you seer of visions, come on you painter, you piper, you prisoner, and shine...*¹⁶

¹⁶ *Давай же, безумец, давай же, сновидец, давай, музыкант, живописец и пленник, сияй...* (англ.) – строчка из песни «Shine On You Crazy Diamond».

6.

– Слышь, Ард! Твоя ехидна дома?

Это Тилли Эпштейн из Слейтера кричит через дорогу, завидев Арден.

– В клинике, – отвечает Арден, откидывая назад копну светлых волос.

Она вышагивает в сторону дома по субботней улице, и головы поворачиваются вслед ее загорелым ногам, замшевым сапожкам и микроминиюбке. Ее бедра обхватывает широкий пояс со сверкающей пряжкой PRADA – это переводится как «У меня комплексы». Она только что вышла из гастронома с диетической колой, пачкой сигарет и минералкой «Эвиан». Первое и второе – ее завтрак, а вода – для бульбулятора. Ведь та, что из-под крана, такаааая вредная!

– Че, на предмет ботокса?

– Не, на предмет прочистки мозгов.

Мамаши, которым колют ботокс, – неудобная порода. Укол не занимает много времени. Полчаса в клинике, потом шопинг, потом ланч – и все, она возвращается домой и палит вашу тусовку в самый разгар, когда всех уже вытырило. Полный облом.

Другое дело – мамыши, которые желают реабилитироваться после интоксикации или душевных травм. Обычно они летят для этого в Калифорнию, где их ждут очистительные клизмы, юрты, благовония и слезные разборки с внутренним ребенком. Все это, конечно, болезненно, но однозначно проще разборок с ребенком внешним.

– Клево! Значит, бухаем у тебя?

– Не получится. Дома торчит спец по фэн-шую. Говорит, у нас вся карма засорилась.

Специалист по устранению засора кармопровода. Такое встретишь только в Бруклин-Хайтс.

– У Ника сегодня какая-то туса, – вспоминает она.

Тилли довольно хлопает в ладоши и сворачивает в клуб йоги.

Я продолжаю путь по тротуару, держась на достаточном расстоянии от Арден, чтобы не пришлось с ней разговаривать, и тут из фалафельной «Мабрук» выходит парень, хватает Арден и неаппетитно целует в губы. Это ее бой-френд. Его зовут Ник. Он тоже учится в Св. Ансельма.

Вообще-то он Ник Гуд, но ребята называют его Ник Невиновен, потому что адвокаты его отца раз за разом произносят эту фразу перед судьей. Ника судили за вождение в нетрезвом виде, за ношение наркоты, за то, что три утра кряду блевал в «Старбаксе», а также за совершение акта мочеиспускания с горки на детской площадке Пьерпонт-стрит. Он англичанин. Его отец и мачеха, сэр и леди Гуд, разводят попугаев.

На зимнем солнце растрепанные кудри Ника блестят как золото. И щетина на подбородке тоже. Сапоги, килт, футболка с длинными рукавами. Он без куртки, хотя на дворе декабрь. Красавцам незачем ходить в куртках. Их греет всеобщее внимание.

Оторвавшись от Арден, Ник замечает меня. Он тут же подскакивает, хватает меня за руку и поет «Я хочу Анди» на мотив «I Want Candy»¹⁷.

У него умопомрачительный голос, рокошующий и хрипловатый. От него пахнет вином и куревом. Внезапно он перестает петь и спрашивает, приду ли я к нему на тусовку.

– Ники, блин! – выкрикивает Арден, явно нервничая.

– Спокойно, Ард, – отзывается он через плечо. – Ард такая страстная женщина, – шепчет он мне и лыбится.

Он забирает у меня пакеты и ставит их на тротуар. В одном лежат сэндвичи, в другом – семнадцать тюбиков синей краски разных оттенков. Мама все еще бьется с глазами Трумена. К утру она едва не довела себя до срыва, мне с трудом удалось ее успокоить. Я объяснила,

¹⁷ Песня группы «Стрейнджлавз» 1965 года.

что у нее просто неправильные краски, и пообещала заскочить в лавку для художников, чтобы купить правильные.

Ник берет меня за руки и упирается лбом в мой лоб.

– Приходи сегодня. Я благородных кровей, а ты бродяга безродная, так что делай, как я велю. Сыграешь на гитаре, развлечешь меня. Моя жизнь трындец как скучна.

– Приглашаешь меня в придворные шуты? Какая честь, какая жесть.

– Соглашайся, чудовище. Ты злоязыкая маленькая ведьма с черной душонкой. Самая интересная штучка в целом Бруклине.

Я закатываю глаза.

– Ты сколько сегодня выкурил? Кило шишек за раз?

– Ну приходи. Я жажду тебя видеть... – Он лезет целоваться, его губы касаются моих.

Это он зря. Совсем зря. Я его отталкиваю.

– Чувак, я тебе не редька.

– Чего?

– Редьку знаешь? Горькая такая дрянь. Ты же трахаешь богинь, а они такие сладкие, что вкусовые рецепторы притупляются.

И вот когда становится приторно, хочется перебить это чем-нибудь горьким.

Ник ржет как больной. Под обкуркой кто угодно покажется шутником. Даже Леттерман¹⁸.

– Ладно, мне пора. – Я делаю шаг в сторону.

– Анди, ну подожди.

Я не хочу стоять здесь. Не могу. Мне не по себе от сочетания Ника и Генри-стрит. Он-то почти ничего не помнит. По крайней мере так он сам утверждает. Мне, правда, кажется, что он как раз помнит все, потому и дует не прекращая.

Я успеваю отойти совсем недалеко, когда он кричит мне вслед:

– Я выдам тебе гитару моего крестного.

Ого. Тяжелая артиллерия. Крестный Ника – не кто-нибудь, а сам Кит Ричардс.

Я поворачиваюсь.

– Ник, чего тебе от меня нужно, а?

Это звучит почти по-хамски.

– Она офигительная, – продолжает Ник. – Он на ней сочинил «Angie»¹⁹.

– Серьезно, вот что тебе нужно? Секс? Вряд ли, тебе и так все дают. Колеса? У тебя у самого таблеток больше, чем в аптеке. О, может, тебе просто надо помочь с французским?

– Он подарил мне ее месяц назад, когда я был в Англии, – не унимается Ник. Теперь в его голосе сквозит мольба.

И я чуть не срываюсь. Я хочу бросить ему в лицо – *что* ему так сильно от меня нужно. Прощение. На секунду марево дури рассеивается, и я вижу в его глазах боль. Поэтому я молчу и терплю его. Этому ему мало, но на большее меня не хватит.

– Да врешь ты все, – говорю я. – Это не дяди Кита гитара. Ты ее в интернете купил.

Он улыбается.

– Не. Она правда его.

– Да? А что за марка? – спрашиваю я сощурившись.

– Ну... Фендер-фигендер какой-то... Не, стоп, это Пол Гибсон, кажется... Стратобластер или как бишь его. Блин, да не помню я, что там за марка! Но это его гитара, клянусь. Хочешь, я ему позвоню, он сам тебе скажет. Реально, он мне ее подарил. Приходи – дам поиграть.

– О'кей. Приду.

¹⁸ Дэвид Леттерман – американский ведущий ток-шоу и комедиант, чьи «несмешные шутки» стали своеобразной притчей во языцех.

¹⁹ Одна из самых известных песен группы «Роллинг Стоунз».

Я беру свои пакеты, прощаюсь и спешу мимо Арден. Если бы взгляды могли испепелять, от меня бы уже остался один пшик.

– Спасибо за приглашение, – говорю я, обращаясь к ней. Но Арден не снисходит до ответа. Она бережет слова для Ника.

– Чего ж ты не завалил ее прямо на тротуаре, Ник? Тебе же так хотелось. Думаешь, я слепая?

– Отвянь, Арден. Башка от тебя трещит.

Ах. Милые бранятся.

Я улыбаюсь, сворачивая на свою улицу. Перспектива зимних каникул уже не кажется такой унылой. Я решаю набрать Виджея – спросить, не пойдет ли он со мной к Нику. Помимо гитары, которую я очень хочу подержать в руках, на вечеринке будет куча других прекрасных соблазнов: скучающие мальчишки-мажоры, ревнивые девочки-мажорки, прорва нелегальных веществ. Может, даже заряженный пистолет.

Это если мне повезет.

7.

Увы. Мне не повезло. Совсем. Вечеринка – дерьмо. В прямом смысле слова. Я и десяти минут не провела в доме Ника, а жидкая белая струйка уже шлепнулась мне на плечо. Я поднимаю голову. На люстре сидит огромный зеленый попугай и чистит перышки.

Руперт Гуд, отец Ника, подхрамывает ко мне с кухонным полотенцем в руке.

– Яго, разбойник! – восклицает он, потрясая костью. – Я сверну тебе шею! Общиплю, выпотрошу и запеку в духовке!

– Глупый господин! – кудахчет Яго и улетает портить вечер кому-то еще.

– Прости, дорогая, – произносит Руперт. – Эта птица – настоящая дрянь. Позволь-ка...

Руперт – актер. Он играл всех мыслимых шекспировских героев, снялся в куче авторских фильмов, а после четырех или пяти «Гарри Поттеров» стал звездой. Он больше не может играть, потому что весь трясется. Но голос у него по-прежнему завораживающий. До его голосовых связок болезнь Паркинсона еще не добралась.

Он вытирает с моего плеча помет, а я озираюсь. Обои в потеках, потолок в трещинах. На стене – выцветшая картина в потрепанной раме. На чьей-то куртке дрыхнет терьер, от него разит псиной. Повсюду разложены стопки сценариев. Если бы этот дом принадлежал кому-то другому, его отправили бы под снос. Но здесь живет сам Руперт Гуд, поэтому про дом пишут в «Вог».

– Что-то ты пропала, – говорит Руперт. – Раньше я часто видел вас с Марианной в кафешке на Крэнберри. Вы всегда заказывали кофе на вынос.

Он дружит с моей матерью. Точнее, дружил. Когда она еще была способна на дружбу.

– Просто куча дел навалилась. Выпускной проект, заявки в колледж, сами понимаете.

Руперт знает, что я вру.

– А по-честному, Анди? Как ты? – спрашивает он и пылливо смотрит на меня.

– Да нормально. – Я отвожу взгляд. Ему правда не все равно.

И именно поэтому я не буду с ним откровенничать.

– Нормально? Позволь тебе не поверить, – произносит он. – Я, знаешь, когда думаю про тот день, всякий раз вспоминаю монолог Лира над мертвой Корделией. «Зачем живут собаки, лошадь, крыса – в тебе ж дыхания нет? Ты не вернешься!..»²⁰ Я нахожу большое утешение в работах мастера. А ты не пробовала? Шекспир задается такими глубокими экзистенциальными вопросами...

²⁰ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

– Губка Боб Квадратные Штаны тоже ими задается. Но что-то у обоих напряг с глубокими экзистенциальными ответами.

Руперт смеется, хотя глаза у него грустные.

– Ник по тебе скучает. И я скучаю, – говорит он и обнимает меня. Люди часто меня обнимают. Видимо, это должно как-то помогать. По крайней мере им.

– Ладно, беги веселись, – улыбается Руперт и протягивает мне розовый бумажный зонт.

– Руперт, здесь не то чтобы солнечно.

– Это твой щит от пернатых, дорогая. Эдмунд, наш новичок, – сволочь похлеще Яго.

Я раскрываю зонт и брожу из комнаты в комнату, чувствуя себя как Чио-Чио-сан в поисках Пинкертона. Половина моих одноклассников торчат на кухне. Кругом пустые бутылки, смятые сигаретные пачки, попугаи и бумажные зонтики. Ника нигде не видно.

Кто-то протягивает мне бокал вина, я отказываюсь. Алкоголь плохо сочетается с моими таблетками. Смешивать то и другое – значит нарываться на побочки.

Я села на таблетки год назад. Меня отправили к психиатру, доктору Беккеру, потому что я не могла есть, спать и ходить в школу.

Психиатра посоветовала Бизи, а отец заставил меня записаться на прием, пригрозив, что запретит заниматься с Натаном, если я откажусь. Предполагалось, что я буду обсуждать с доктором Беккером свои переживания, но я едва сказала ему пару слов, точнее три слова: «Пустая трата времени». Спустя несколько недель таких сеансов доктор Беккер прописал мне паксил. Потом золофт. Они не помогли, и тогда он посадил меня на трициклик, который я принимаю до сих пор. Если и это не сработает, придется пить антипсихотики.

Я продолжаю бродить по дому Гудов в поисках Ника. Мне жалко, что Виджей не пришел, – без него не с кем поговорить. Но сегодня субботний вечер и начало зимних каникул, самое время поработать над выпускным проектом. Он у него называется «Атом и Ева: технология, религия и битва за XXI век». Виджей уже умудрился взять интервью у пяти мировых лидеров.

Заглядываю в гостиную. Грохочет музыка. Кто-то обжيمается на диване, кто-то на стуле, кто-то на полу. Над каминной полкой висит огромное черно-белое ню авторства Стивена Мейзела²¹. На снимке – леди Гуд IV. Ей двадцать три года. Она фотомоделль. И ее почти никогда не бывает дома. Руперт это объясняет так: «Женщине с такой грудью дозволено вести себя, как ей заблагорассудится».

Отправляюсь в библиотеку. Здесь Шива Мендес показывает слайды своей последней концептуальной инсталляции. Она называется «Пустота»: шестьдесят пять бутылок слабительного и какой-то непередаваемый видеоряд. Это часть ее выпускного проекта. Инсталляция будет демонстрироваться в музее Уитни, в рамках выставки молодых художников. Бендер Курц, который второй раз за год выписался из наркологической клиники, рассказывает о своем проекте – книге мемуаров о зависимости. У него уже наклонился издатель. Теперь он пытается протолкнуть это дело киношникам. Он сидит и хвастается какой-то девице:

– Мой агент весь в предвкушении, сам Уэс заинтересовался!

Одноклассники меня страшно утомляют. До боли, до тошноты, до безумия. Когда я их слушаю, хочется лечь на пол и отрубиться лет на двадцать, но это не вариант – ковер весь заляпан птичьим дерьмом. Тогда я решаю свалить. Ника по-прежнему нигде не видно. По крайней мере на первом этаже. Может, он наверху, но я, пожалуй, не решусь соваться в спальни этого дома. Я выхожу в коридор, и кто-то внезапно обнимает меня за талию, а к моему затылку прижимаются чьи-то губы. Вкрадчивый голос произносит:

– Я знал, что ты появишься. Только к кому ты пришла на самом деле? Ко мне? Или к моей гитаре?

²¹ Известный фэшн-фотограф, который много лет снимает для журнала «Вог».

– Разумеется, к гитаре.

– Жестоковейшая сирена! – мурлычет он, шутливо дергая меня за сережку, и протягивает мне гитару. Вот так, буднично – как люди делятся сигаретой или жвачкой.

– И что, прямо можно поиграть? – спрашиваю я. Шепотом.

– Да легко, – отвечает он, не обращая на гитару никакого внимания. Подлетает Арден, что-то щебечет ему на ухо и тычет пальцем в сторону кухни. Через секунду они исчезают, а я остаюсь с гитарой Кита Ричардса. Держать ее в руках – ощущение одновременно потрясающее и жутковатое, словно это мешок с алмазами. Или живая кобра. Или бомба.

Я перебираю струны. Пальцы на грифе складываются в ля минор, затем в ми-септаккорд, затем соль – начало «Angie», – но я почти не слышу звука, потому что вокруг все шумят. Я бегу вверх, на второй этаж, потом на третий. Люди повсюду, и я продолжаю бежать, пока не добирюсь до крыши.

Здесь свалена в кучу старая садовая мебель. И ни души. Усевшись на колченогий стул, я накидываю на себя гитарный ремень. Я недостойна этой чести, совсем недостойна, но это соображение останавливает только лучших из нас. Так что я начинаю играть. Сначала «Angie», потом другое из «роллингов» – «Wild Horses» и «Waiting on a Friend».

Мои пальцы уже синеют от холода, но я играю, пока музыка не накрывает меня с головой, играю, пока не превращаюсь в музыку сама – в ноты, аккорды, мелодию, гармонию. Мне больно, но это ничего. Зато когда я – музыка, я – не я. Нет тоски. Нет страха. Нет отчаяния. Нет вины.

Спустя час с лишним я засовываю руки в карманы и решаю пройтись по крыше, глядя в ночное небо. Звезд не видно. В Бруклине их почти не бывает. Их пожирает иллюминация. Зато отсюда виден Темплтон. Темный и уродливый. Окна новеньких квартир на верхних этажах радостно горят. Кое-где мигают наряженные елки. Трумен погиб как раз перед Рождеством. Было холодно. Витрины переливались цветными огнями. На углу мужик продавал елки. Где-то пели рождественские хоралы. Макс стоял на тротуаре и кричал.

Я не помню, как прошло само Рождество в том году. Помню только, как разбирала елку. Это было в апреле. Она вся порыжелая и осыпалась. Под ней лежали нетронутые подарки. Никто не хотел их распаковывать, так что отец засунул их в мусорные мешки и отнес в благотворительную лавку.

От меня до края крыши – десять шагов. Я отсчитываю их один за другим и останавливаюсь на краю. Подо мной улица. И кажется, что это так просто – еще шаг, и все кончено. Больше никакой боли, никакой ярости, ничего.

Голос за моей спиной произносит:

– Слушай, не надо. Правда. Не надо.

Я поворачиваюсь.

– Почему?

Ник говорит:

– Мне будет тебя не хватать. Ну и всем остальным тоже.

Я начинаю ржать.

– Ну ладно, ладно, но по гитаре-то я точно буду скучать. Если решишь прыгать, оставь ее тут, хорошо?

До меня доходит, что я до сих пор стою с гитарой Кита Ричардса на шее. Я могла забрать ее с собой, и она разбилась бы вдребезги. Эта мысль ввергает меня в ужас. Я делаю шаг к Нику.

– Черт, прости, пожалуйста, Ник...

Моя нога скользит по льду, я теряю равновесие и кричу, а Ник хватается меня за руку – кажется, что сейчас мы оба рухнем вниз, но в последний момент он резко дергает меня на себя, и мы удерживаемся на крыше.

Он отпускает меня и начинает орать. Со всей дури. Его голос хрипит и надламывается. Я не могу разобрать слова: в ушах стучит кровь. Хочет, чтобы я ушла? Я снимаю гитару и опускаю на бетон.

– Нет уж, подними! – требует Ник. – Подними и сыграй что-нибудь. Хоть какой-то от тебя толк будет. Обоих нас чуть не угробила!

И я играю дрожащими руками. Получается фигово, но я пытаюсь изобразить «You Can't Always Get What You Want», потому что это кажется уместным. Потом играю «Far Away Eyes». Потом «Fool to Cry»²². А потом прерываюсь, чтобы согреть руки.

Ник молчит. Я решаю, что он все еще злится или думает, что я бездарность, но он вдруг произносит:

– Это очень круто. Сыграй еще.

– Не могу. Пальцы задубели.

Он подходит, берет мои руки и дышит на них. Его дыхание сладко пахнет вином и теплом. Он весь хорошо пахнет. И выглядит.

И когда он берет мое лицо в ладони и целует меня, это тоже оказывается хорошо.

На мне все еще висит гитара. Я ее снимаю, чтобы не мешала прижаться к нему. Хочу почувствовать его дыхание на своей шее. Почувствовать тепло его кожи. Почувствовать хоть что-нибудь, кроме тоски.

Держи меня, шепчу я беззвучно. Держи меня здесь. На этой земле. В этой жизни. Сделай, чтобы я захотела тебя. Захотела хоть что-нибудь. Пожалуйста, сделай.

И тут раздается:

– О-фи-геть.

Это Арден. Она тоже поднялась на крышу.

– Ник, какой же ты засранец!

– Арден, ну ты чего... это просто так... мы, это, короче, она расстроилась, и я...

Арден запускает в него пивной бутылкой, которая разбивается о трубу за его спиной. И тогда начинается ор.

– Тебе лучше уйти, – бросает мне Ник.

И я ухожу. Скорее. Три пролета вниз по лестнице, прочь из дома. Я уже прошла половину Пайнэппл, а крики все еще слышны.

– Да как ты мог! Тебе на меня совсем наплевать, да?

– Я же сказал, ничего не было!

Ну конечно. Совсем ничего. И почему я не спрыгнула, пока был шанс?

8.

– Мам?

Я распахиваю дверь и захожу в дом. Молчание.

В этом нет ничего необычного, но зачем-то повсюду включен свет.

– Почему так ярко? – бормочу я. И снова зову: – Мама?

Со стороны гостиной раздаются шаги. Четкие и быстрые.

– Где ты была?

Я застываю как вкопанная.

Тот же голос и те же слова я услышала, когда погиб Трумен. Но тогда это был крик. Один и тот же вопрос – снова и снова.

– О, привет, пап. Сколько лет, сколько зим. Как там дела в мире макромолекул?

– Где ты была?

²² Все три песни написаны «Роллинг Стоунз».

- На вечеринке у Гудов.
- У Гудов? Господи. Анди, ты же не встречаешься с Ником?
- Нет.
- Какое счастье.
- Я встречаюсь с Рупертом.

Он мрачнеет.

- Это, по-твоему, смешно? Что ж ты все время такая...

Дрянь? Хамка? Тогда понятно, почему мы стоим сейчас в пяти шагах друг от друга – не обнимаемся, не здороваемся, не спрашиваем, как дела, хотя не виделись уже четыре месяца. А все потому, что я дрянь, а не потому, что мы друг друга ненавидим.

– ...такая язва! Твое поведение неприемлемо! Почему ты мне не позвонила и не рассказала?

- Про вечеринку у Ника?..

– Про школу! Про твои оценки. Про картины. Про мать. Почему ты ничего о ней не говорила?

Я пугаюсь.

- Что случилось? Где она? Она знает, что ты здесь?

Мне страшно, что он ее расстроил. Он это умеет. Я бросаюсь в гостиную. К моему облегчению, она сидит и пишет картину. Просто пишет картину.

- Привет, мам, – говорю я. – Ты голодная? Хочешь мюсли?

Она качает головой.

- Пап! Мюсли?

- Нет, я...

- Могу тост поджарить.

- Я хочу услышать объяснение вот этому! – кричит он, обводя комнату рукой.

- Это картины. Мама у нас художница, ты что, забыл?

Он медленно поворачивается вокруг своей оси.

- Здесь все стены увешаны картинами. Сплошняком.

Это правда. Она уже начала приколачивать их к потолку.

- Около двух сотен, не меньше, – говорит он. – И на каждой Трумен. Давно это с ней?

- Не знаю. Несколько месяцев.

- Месяцев?!

– Слушай, ей так лучше. Когда она пишет, она не плачет, и не кричит, и не крушит все вокруг, понимаешь? Что тебе вообще нужно, пап? Ты зачем приехал?

Он переводит взгляд на меня и несколько секунд смотрит молча и растерянно.

– Мне пришло письмо из твоей школы. Я хотел с тобой о нем поговорить. Двадцать раз звонил. Никто не брал трубку. Я оставлял сообщения, ты не перезванивала. Пришлось садиться на самолет. Мисс Бизмайер жалуется, у тебя непроходные баллы по всем предметам. Ты на грани отчисления. Что происходит, Анди? Ты пьешь свои таблетки?

– Да, я пью свои таблетки, и, чисто ради справедливости, – у меня не по всем предметам непроходные баллы. По музыке с оценками полный порядок. Бизи, конечно же, об этом не сообщила?

Он не слышит меня. Или притворяется, что не слышит.

– Два года назад ты была круглой отличницей. Ты выигрывала призы на конкурсах по французскому и по биологии.

- И по музыке.

- Я не понимаю, что случилось. Объясни мне.

Я в изумлении смотрю на него.

- Ты это всерьез сейчас спрашиваешь? Тебя что, Альцгеймер хватил?

Несколько секунд он молчит. В тишине слышно только шуршанье кисточки по холсту и тиканье часов над камином.

Наконец он произносит:

– Черт побери, Анди, Трумена больше нет.

– Я в курсе.

– Ты должна его отпустить.

– Совсем как ты, да? Новая жизнь – и никаких сожалений.

– Твой брат умер. Он умер, а не ты!

– Да, я знаю. Какая жалость, правда? Для всех вокруг.

Он опускается на стул как человек, которого толкнули со всей силы, и закрывает лицо руками.

– Господи, что мне теперь делать? – глухо спрашивает он.

Вот она, сцена воссоединения. Здесь я должна броситься ему на шею, он заключит меня в объятия, и мы будем плакать чистыми серебряными слезами, после чего все наладится. Я стою и жду, когда начнется душещипательная музыка. Какие-нибудь скрипки. Дешевая голливудская слезовыжималка. Но ничего не происходит.

И не произойдет. Я хорошо это сейчас понимаю. Я тщетно ждала два года.

Отец опускает руки и спрашивает:

– Когда начинаются каникулы?

– Сегодня.

– А когда назад в школу?

– Пятого.

Он достает свой блэкберри и пару секунд что-то в нем ищет.

– Отлично, – заключает он, – все складывается. Все очень даже складывается. Я могу взять тебя с собой.

– Мы это уже проходили. Ничего хорошего. Твоя Минна меня терпеть не может.

– Я говорю про Париж. Я лечу туда в понедельник из Бостона. По работе. Если, конечно, авиакомпания не объявит забастовку, они всю неделю грозятся. Я собираюсь остановиться у Джи. У них с Лили новый дом, там куча места. Так что поедешь со мной.

Я смеюсь ему в лицо.

– Никуда я не поеду.

– Это не обсуждается, Анди. Ты едешь в Париж, берешь с собой ноутбук. Мы проведем там три недели. Как раз достаточно времени, чтобы составить черновик выпускной работы.

– Ты ничего не забываешь? А как же мама? Что, мы просто бросим ее тут одну?

– Твоя мать ложится в клинику, – сообщает он мне.

Я смотрю на него и не нахожу слов.

– Я позвонил доктору Беккеру, как только приехал. Он устроит ее в «Арчер-Ранд». Это хорошая клиника. У них эффективная программа реабилитации. Можешь собрать ее вещи? Я повезу ее завтра с утра...

– Зачем? Зачем это надо?! – Я не на шутку злюсь. – Ты никогда не приезжал, когда был нужен. А теперь ты не нужен, и – здравствуйте! Знаешь что, тебя никто не звал. Мы прекрасно справляемся. У нас все хорошо. У нас без тебя всегда все было хорошо.

– Хорошо? – Он тоже начинает злиться. – Ты это называешь хорошо? Дом превратился в помойку. Твоя мать повредила умом. Тебя исключают из школы. Ничего нет хорошего, Анди. Ничего!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.